

Аполлон Григорьев

Человек будущего



Аполлон Александрович Григорьев
Человек будущего
Серия «Трилогия о Виталине», книга 1

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=314352

*Аполлон Гргорьев «Воспоминания»: «Наука», ленинградское отделение;
Ленинград; 1980*

Аннотация

«Человек будущего» – первая часть своеобразной трилогии о Виталине.

...Один человек не имел определенной цели и шел по Невскому для того, чтобы идти по Невскому... Двинулся – сказал я, – потому что в самом деле было что-то произвольное в походе этого человека; без сознания и цели он шел, казалось повинуюсь какой-то внешней силе, сторбясь, как бы под тяжестью, медленно, как поденщик, который идет на работу...

Содержание

I. Встреча	4
II. Представление	16
III. Арсений Виталин	32
IV. Записки софиста	40
V. Скверное утро	53
VI. Воображаемый журнал, редактор его и сотрудники	58
VII. После представления	67
Комментарии	71

Аполлон Григорьев Человек будущего Рассказ без начала и без конца, а в особенности без «морали»

Посвящается А. А. Фету

І. Встреча

Был полдень. На Невском еще не мелькали обычные группы и лица. Все, что шло по нему, шло с особенною целию, и эта ли цель или довольно сильный мороз сообщали особенную скорость походке пешеходцев.

Один только человек не имел в это время определенной цели и шел по Невскому для того, чтобы идти по Невскому. Он вышел из кондитерской Излера,¹ довольно медленно сошел по ступеням чугунной лестницы, поднял бобровый воротник своего коричневого пальто, вероятно почувствовав-

¹ Кондитерская *Излера* помещалась в доме, принадлежавшем Армянской церкви (Невский проспект, № 40).

ши холод, надвинул почти на глаза шапку с меховой опушкой и, заложив руки в карманы, двинулся по направлению к Полицейскому мосту.²

Двинулся – сказал я, – потому что в самом деле было что-то произвольное в походке этого человека; без сознания и цели он шел, казалось повинуясь какой-то внешней силе, сторбясь, как бы под тяжестью, медленно, как поденщик, который идет на работу. Он был страшно худ и бледен, и его впалые черные глаза, которые одни почти видны были из-под шапки, только сверкали, а не глядели. Изредка, впрочем, останавливался он перед окнами магазинов, в которых выставлены были эстампы, и стоял тогда на одном месте долго, как человек, которому торопиться вовсе некуда, которому все равно, стоять или идти. Но и глядя на эстампы, он, казалось, не глядел на них, потому что на лице его не отражалось ни малейшей степени участия или интереса.

Во время одной из таких остановок двери магазина, перед окнами которого он стоял, отворились, и из них выпорхнула женщина, которое появление заставило бы всякого, кроме его, выйти из апатии. Черты лица ее были так тонки, цвет кожи так прозрачен, походка так воздушно-легка, что она могла бы показаться скорее светлую тенью, тончайшим паром, чем существом из плоти и костей, если бы яркие, необыкновенно яркие голубые глаза не глядели так быстро и живо, что в состоянии были бы, взглянувши на человека, заставить его

² *Полицейский мост* – мост на Невском пр. через реку Мойку (ныне Народный).

потупиться. Она была одета легко и даже слишком легко, потому что все, что было на ней мехового, могло ее украшать, но уже вовсе не греть. Лицо ее было одно из тех немногих у нас лиц, которые, промелькнувши перед вами даже профилем, не выйдут из вашей памяти, потому что, кто бы вы ни были – старик, муж или юноша, они, эти лица, сольются для вас с первыми грезами детства, с первыми снами жизни; одно из тех лиц, на которых странно-гармонически сливаются и чистота младенческой молитвы, и первые грешные мечты, поднимающие грудь женщины, и детски-простая улыбка ангелов Рафаеля, и выражение лукаво-женского кокетства.

Она выпорхнула из магазина, как птичка, беззаботно и весело, как ребенок, которому купили игрушку, – но это движение в одну минуту и без резкого перехода сменилось у нее выражением до того строгим и холодным, что ее нельзя было узнать. Мига этой перемены вы бы не уловили. Вы могли сказать только, что перед вами выпорхнула птичка и что перед вами же стояла на ступенях лестницы прекрасная, но строгая фигура женщины, с ресницами, опущенными не от скромности, но от холодности, с нетерпеливым выражением на бледных и тонких устах, вероятно потому, что человек, который шел за нею с лестницы магазина и нес разные пачки, был слишком тяжел, чтобы следовать за ней шаг за шагом.

– Боже мой – наконец! – сказала она почти с досадою.

– Сию минуту, сударыня, – отвечал лакей. – Эй ты, подавай, – закричал он во все горло почти над ухом красавицы.

Она вздрогнула.

Извозничий возок медленно стал поворачивать.

В это время она рассеянно взглянула направо.

Чудак еще стоял перед окнами, по-прежнему сунувши руки в карманы.

При первом взгляде на него в глазах ее выразилось то смутное, неопределенное чувство, которое овладевает нами, когда мы припоминаем себе что-нибудь; но чувство это пробежало на ней мгновенно, как молния. В полсекунды она уже была подле него.

– Виталин! – вскричала она.

Он вздрогнул и, узнавши ее в ту же, казалось, минуту, хотел сказать ей что-то.

– Виталин, – повторила она с детской радостью и, не давши ему выговорить, завладела его левою рукою и повлекла за собою к карете.

Он не противился, но дружески пожал эту поданную ему маленькую и бледную руку; больше еще, его неподвижность исчезла, он очень ловко помог ей впорхнуть в карету, влез за нею и захлопнул дверцы.

– Домой, – закричала она из окна. Карета поехала.

– Давно ли ты здесь? – спросил Виталин, садясь подле нее и несколько, казалось, не изумленный неожиданною встречей.

– Почти год, – отвечала она, – и почти столько же ищу тебя по всему Петербургу. Я знала, что ты здесь, – но где, это было мне неизвестно, как всем. Ты бог знает что делаешь, –

прибавила она, взглянув на него грустно. – Ты забыл всех, всех...

– Ну, многие, конечно, меня в этом предупредили, – возразил Виталин. – Да и скажи на милость, к кому я там стану писать?... К тебе... но, кстати, муж твой здесь?

– Он умер, – сказала она, стараясь придать тону этого ответа прилично-печальный оттенок.

– Без церемоний, пожалуйста... Это самое умное дело, какое он сделал в свою жизнь. Он надоел тебе страшно?

Она молчала, потупив глаза.

– Он был удивительно глуп, не правда ли? – продолжал Виталин все так же спокойно, как будто говорил о живом и совершенно постороннем человеке.

Она кусала губы, чтобы не расхохотаться.

– Но оставим его... Зачем ты здесь?

– Зачем ты-то здесь, и целые годы? – отвечала она и, привязавшись к этим словам, захохотала, как ребенок.

– Зачем?... Вероятно, затем, что здесь незаметнее ничего не делать, пьянствовать и проч. Кстати, легенды обо мне разрослись, я думаю, в целую поэму? Как там, по преданиям, я пью?... Верно, мертвую чашу? А играю, а? Наверную?

Говоря это, Виталин нервически смеялся.

Ее голубые глаза потемнели от слез, она хватала обеими руками его похуделые и маленькие пальцы.

– Бедный, – прошептала она, – ты все еще не позабыл ничего прежнего?

Он был тронут ее участием и, схвативши одну из ее рук, поднес к губам.

– Зачем ты здесь? – повторил он тихо и нежно, смотря на нее глубоко грустно.

– Это ты узнаешь нынче же, – отвечала она как-то робко и принужденно.

– Отчего не теперь?

– Не все ли равно тебе?

– Ты знаешь, как я не люблю откладывать того, что можно узнать сию секунду, на целый день.

– Впрочем, – сказала она, принужденно-весело, – что же такое нынче или завтра? Итак, мой добрый друг, не удивляйся, не брани меня... я – актриса.

И сказавши это с усилием, она опустила ресницы.

– Ты актриса? – почти вскричал Виталин с радостным изумлением.

Тон его ответа произвел на нее какое-то странное действие; она вся оживилась, ее щеки вспыхнули румянцем, и она бросилась к нему на грудь.

– Ты не упрекаешь меня? – спросила она с радостью ребенка, который ждал упрека и услышал слово любви.

– Я – упрекать тебя, моя сестра, мой друг, мое дитя, – говорил Виталин, целуя ее белокурые локоны. – Я упрекать тебя? Да ты с ума сошла?... Я, который мечтал видеть тебя Офелией Шекспира, тебя, живое повторение Офелии... И мои мечты сбылись? Знаешь ли, что это, может быть, в пер-

вый раз мои мечты сбылись?... Дитя, дитя, ужели ты думаешь, что я сам не был бы актером, если бы не мешали мне проклятая грудь и расстроенные нервы?

– Сумасшедший, – сказала она с улыбкою, поправляя локон, – ты все тот же сумасшедший, все тот же (продолжала она шепотом), который своим безумным учением чуть не... – она не договорила.

– А что?... ты забыла его?... – спросил Виталин полушутя, полугрустно.

– Забывается все, хотя грустно и горько, – отвечала она, задумчиво и склонив голову.

– А я тогда любил тебя, любил сильнее, чем он, хотя не так порывисто.

– И говорил все о нем и умолял за него?

– Ты его любила?

– Да, и его и тебя, почти равно.

Виталин задумчиво взглянул на нее и потом прошептал почти про себя: «Быть может, его я любил тогда больше, чем тебя, больше, чем себя. Но что прошло, прошло, – продолжал он громко, – давно ли?...».

Карета остановилась перед одним из домов Малой Морской. Начатая речь осталась без окончания. Лакей отворил дверцы, спустил подножку... красавица выпорхнула и была уже на лестнице, когда Виталин только что вышел из кареты.

– За мною, – сказала она ему. – Иван, отпусти карету и вели приезжать завтра.

Виталин последовал за нею и остановился только, когда она дернула за звонок отделанной под карельскую березу двери, в третьем этаже.

Им отперла старушка в трауре и белом чепце и с удивлением взглянула на гостя.

– Анна Игнатьевна, Анна Игнатьевна, – вскричала она, – поскорее кофе, я иззябла, – и вслед за этим бросила на стоявший в передней комнате маленький комод свой роскошный салоп и побежала далее. Виталин за нею.

Анна Игнатьевна покачала ей вслед головою, свернула бережно салоп, повесила на крючок пальто гостя и ушла в боковую дверь.

Квартира нашей артистки была просто чиста и опрятна, но вкус женщины в размещении всего, какой-то стройный беспорядок сделали из нее изящную квартиру. Она состояла из четырех комнат: передней, кухни, в которую ушла Анна Игнатьевна, приемной, где стоял в углу тишнеровский рояль и как-то комфортабельно была расставлена многочисленная мебель, и спальни, заменявшей и уборную.

Виталин сел на диван, стоявший у стены. Хозяйка скидала с себя перед трюмо в спальне шляпку и боа...

Перед диваном стоял рабочий столик и на нем лежала рукопись. При первом взгляде на эту рукопись по бледным губам Виталина пробежала ироническая улыбка.

– Послушай, какая у меня роль теперь будет! – сказала она, входя в приемную в одном уже платье, которое выказы-

вало всю стройность ее стана.

– Что же? – отвечал он, перевертывая страницы рукописи. – Роль в самом деле недурна.

– Недурна?... Но ты не знаешь этой драмы!

– Я? – Он захохотал самым искренним смехом... – Помилуй, когда она моя и когда она мне вот где села, – прибавил он, показывая на шею, – благодаря... – он не договорил.

– И это твоя драма? – спросила она с каким-то детским восторгом и сложивши руки.

– Моя, точно так же, как это шитье твое, – отвечал он взявши какую-то бисерную работу.

– Ах, не трогай, пожалуйста, ты мне все перепутаешь... Послушай же, – продолжала она, садясь подле него и положивши на его плечо руку, – тебя ждет слава, Арсений, слышал ли?... тебя ждет слава, тебя ждут рукоплескания...

– Отдаю их тебе, если они будут. Ты думаешь, нужна мне твоя слава, ребенок, – отвечал он, играя ее локонами.

– Слава, рукоплескания! – возразила ему она с неистовым восторгом. – О нет, ты лжешь на себя, ты любишь славу, ты должен любить славу – ты гений.

– Гений! Наталья, Наталья, ты, верно, уж давно привыкла к этому слову. Но что мне за дело, – продолжал он с печальной улыбкою, – гений я или нет. Думаешь ли ты, что этого названия, что уверенности в этом названии станет добиваться человек, который много жил, чтобы думать о самом себе. О нет, – продолжал он, приподнявшись и пройдя два раза

по комнате, – о нет, я не хочу твоей славы, я не хочу названия гения – и вовсе не из отвратительно-ложной скромности: нет, я вовсе не скромн, я знаю себе цену. Это, – сказал он, остановись перед нею и тоном совершенно холодным, взявши свою рукопись, – это – гадость страшная, гадость, от которой мне придется краснеть, но от того-то, что я краснею за нее, находят на меня минуты сатанинской гордости, сознание огромной силы в себе самом... И между тем, сознавая эту силу, клянусь тебе моею совестью, – я не хочу названия гения, я не хочу славы.

– Чего же ты хочешь? – спросила она, смотря на него с изумлением.

– Вот видишь ли, – начал он... – Так многое я ненавижу фанатической ненавистью, так много я люблю безумною любовью. Так много есть такого, что хотел бы я пригвоздить к позорному столбу, с чем я обрек себя бороться до истощения сил, потому что от ложного уважения к этому страдаю я сам по-пустому многие, долгие годы, и верно страдает много безумцев, и нужно мне очень, чтобы меня наградили за это славою или позором? Только бы поняли, только бы один из страдающих братьев нашел в моих созданиях оправдание самого себя, своей борьбы, своих страданий...

Она глядела на него грустно, как глядят на сумасшедшего.

– Мои слова странны, не правда ли, – продолжал он с печальною улыбкою, – но этим словам, дитя мое, я продал всю жизнь, но все то, за что считали меня безумным, было слу-

жение этим словам, этим верованиям... Было время, когда и я встретил бы подобные слова в устах другого недоверием и иронией. Тогда я был счастлив, тогда я был молод, тогда я видел только себя в божьем мире и не верил, чтобы кому-нибудь, было какое-нибудь дело до других. Но я кончил жить для себя, кончил с тех пор, конечно, когда уже у меня не осталось ничего, чем бы я мог жить для себя!.. И с этих пор я живу одною ненавистью к прошедшему, одною любовью к будущему.

Глаза Виталина блистали фосфорическим блеском, на щеках его выступил болезненный румянец.

– Пророк, пророк, – вскричала Наталья, снова складывая руки.

– Да, пророк, если ты хочешь, только, бога ради, не гений, – отвечал он, садясь подле нее и проведши рукою по лбу. – Но оставим это... когда идет моя драма?

– В среду после Нового года.

– Я должен еще говорить с тобою о твоей роли.

– Хорошо... Но послушай, ты нынче у меня весь день?

– Пожалуй, когда это можно.

– Отчего же нельзя?

– Qu'en dira-t-on?³

– Боже мой! из-за «qu'en dira-t-on» мы не виделись пять лет, – отвечала Наталья, – теперь я свободна, теперь я артистка, – прибавила она с чувством гордой самоуверенности, – и

³ А что будут болтать? (франц.),

он опять с своим «qu'en dira-t-on».

– А кто тебе дал право пренебрегать мнением общества именно потому только, что ты артистка?

– Право? я взяла его сама, я не ужилась с обществом и отвергла его.

Виталин не мог удержаться от улыбки, потому что, хотя и верил в женщину вообще, но в каждой из них, взятой порознь, имел привычку уверяться только после долгих наблюдений.

II. Представление

В один вечер, не помню именно когда, но знаю, что это было незадолго до рождества, площадь Александрийского театра была исполнена особенного движения. Лихие извозчики и измученные ваньки беспрестанно подвозили к колоннам театра новых посетителей; по временам даже подъезжали кареты или, за недостатком их, патриархальные возки, из которых вылезало обыкновенно штук по шести женского пола и штуки по две мужского; как они там помещались, это уж загадка необъяснимая.

Ясно, что в Александрийском давалась новая пьеса, и с достоверностию полагать можно, что афиша оной пьесы была не менее как в два аршина длиною. Сени театра наполнились все более и более новыми приплывающими толпами народа, чрезвычайно пестрыми и разнообразными! Чего и кого тут не было! Здесь наблюдатель мог бы в минуту, с помощью расписания мундирам, научиться узнавать безошибочно все вышивки, погончики, петлички⁴ офицеров разных полков и так же безошибочно уметь по цвету воротников относить чиновников к известным ведомствам.

Давалась, в самом деле, новая пьеса, только переводная с французского, под названием которой красовалась ярко

⁴ Намек на фразу Скалозуба из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (д. III, явл. 12): «В мундирах выпушки, погончики, петлички».

и четко отпечатанная фамилия переводчика, с начальными буквами имени и отчества, выставленными, вероятно, из опасения, чтобы такой колоссальный подвиг не был приписан какому-нибудь однофамильцу. Пьеса была одна из тех, которые в блаженные тридцатые годы, когда еще свирепствовала новая французская литература, под именем неистовой юной французской словесности, приводили в ужас раздражительную, как *mimosa pudica*,⁵ нравственность наших критиков даже одним своим названием,⁶ действительно нередко затейливым.

Кроме того, в этой пьесе дебютировала во второй раз, и притом в первой роли, новая артистка.

Она явилась на сцене под именем г-жи Склонской, хотя

⁵ мимоза стыдливая (*лат.*).

⁶ Г. сильно преувеличивает «безнравственность» названий комедий и водевилей 1820 – 1840-х гг.; вот наиболее «фривольные» заглавия пьес из репертуара петербургских и московских театров конца 1820-1830-х гг.: «Моя жена выходит замуж» (А. Писарева), «Супруги прежде свадьбы» (П. Каратыгина), «Заемные жены» (его же), «Муж и любовник» (Р. Зотова). Театральные критики русских журналов и газет постоянно ополчались на пошлость или безнравственность содержания комедий и водевилей, но их претензии к заглавиям ограничивались весьма умеренными замечаниями. Например, анонимный рецензент из надединской «Молвы» так оценил вычурное название одной комедии («Карл XII на возвратном пути в Швецию, историко-военно-анекдотическая драма в 4 д., служащая продолжением драмы: Карл XII при Бендерах, соч. доктора Тёпфера, перев. с немец. И. Г. Эрлинга»): «Справедливо негодуя на закоренелую привычку – пускать пыль в глаза и заманивать на бенефисы пышными объявлениями, длинными афишами к чудными названиями пьес, в гостях у г. Щепкина хотелось бы видеть что-нибудь подстойнее» (Молва, 1833, № 13Г с. 49).

настоящая фамилия ее была другая.

Эти две причины – новая пьеса и новая артистка, от первого дебюта которой пострадали крайне руки некоторых молодых людей, – эти две причины, вероятно, содействовали к особенному оживлению Александрийского сквера и к видимому благоденствию тощих ванек, впрочем, их только потому, что извозчики-лихачи были большею частию нанимаемы только от дверей Палкина,⁷ куда, для передышки от дальнего пути, заходили офицеры, с различными нашивками и петлицами, и молодые чиновники, с завитыми в трубочки волосами и в различных цветов жилетах, чтобы собраться с силами перед будущим эстетическим наслаждением и чтобы осмотреть состояние вязанного обыкновенно из бисера какими-нибудь нежными ручками барышни с Петербургской стороны кошелька и расчесть: достаточно ли будет содержащегося, чтобы на лихаче поравняться с известным патриархальным возком у колонн театра.

Било уже семь часов. Прибывающие толпы спешили или летели на крыльях по лестницам.

В это время вошел и Виталин. Одет он был точно так же, как мы уже его видели, шел точно так же медленною походкою, не глядя ни на что впереди и кругом себя.

Он подошел к кассе, взял билет в кресла и отправился.

Когда он вошел, оркестр играл что-то, по обыкновению

⁷ ... от дверей Палкина... – Ресторан Палкина помещался в доме № 47 по Невскому проспекту (ныне кинотеатр «Титан»).

неизвестно откуда взятое, но, кажется, французскую кадрили из оперы «Густав»,⁸ хотя это вовсе не клеилось к имеющей быть представляемой драме. Он сел на свое место и, увидевши, что соседнее с правой стороны было еще пусто, положил на него свою шляпу.

Не прошло минуты, как по ногам сидящих стал пробираться с извинениями человек, одетый очень скромно, с наружностью очень замечательною. Это было лицо, на котором ум ярко отпечатлел свое божественное присутствие; но вместе с этим какое-то неприятное выражение, какое на обыкновенных лицах является от сильного пронзительного холода, какое-то постоянное сжатие всех черт искажало эти умные и благородно-правильные черты и сообщало им выражение скромной таинственности вопроса, не разрешимого для других и, может быть, для себя; кроме того, усталость и тяготение видны были во всех движениях этого человека, и от нее ли или в самом деле от внутреннего холода происходила еще одна неприятная резкая особенность: промежуток между губами покрыт был у него потом, который невольно как-то напоминал нам о стеклах окон, влажных от холода.

Это новое лицо добралось наконец до места, занятого шляпою Виталина, молча подало ему руку, которую тот так же молча пожал, и село, когда Виталин взял свою шляпу.

– Не начинали еще? – спросил он, наклоняясь к уху Вита-

⁸ «Густав» – опера Д. Ф. Э. Обера по либретто Э. Скриба «Густав III, или Бал-маскарад» (1833).

лина, и стал смотреть то в правую, то в левую сторону, ища, казалось, кого-то глазами.

– Нет еще, – отвечал Виталин, вынимая из кармана табакерку.

– Я смотрю переводчика, – говорил тот, все еще продолжая глядеть. – А! Вот наконец!

Виталин посмотрел в ту сторону, куда показывал глазами его приятель.

Тот, на кого он показывал, был юноша лет девятнадцати, стройный и красивый собою, с бледною наружностью и с длинными волосами, по самые плечи, закинутыми чрезвычайно искусно, в синих очках, которые, несмотря на то, что были очень сини, не могли снять с его лица типа самого раннего, близкого еще к детству, юношества. Он был весь в черном и в белых перчатках.

– Гм... – проговорил Виталин, смотря на него, и улыбнулся едкою улыбкою. Он наклонился к своему соседу, хотел ему сказать что-то, но в это время подняли занавес; он оборотился к сцене и, положивши на шляпу руку, оперся на нее подбородком.

Вышли какие-то господа, которые по афише должны были представлять двух маркизов XVIII столетия и которые беспрестанно подмигивали один правым, другой левым глазом, потому вероятно, что вели разговор довольно таинственный и непонятный о похищении какой-то мещанской невинности и находили, что в разговорах подобного рода маркизы XVIII

века должны были употреблять именно этот жест, а не какой-либо другой.

В театре было так тихо, что можно было бы слышать жужжание мухи.

Но вот вдали показалась женская фигура.

Топот, стук, хлопанье и вой нечеловеческий раздались во всех концах зала, так что гул слышен был даже на площади, а кучера, поглаживая и разглаживая бороды, обратившиеся в сосульки от жестокого мороза, и похлопывая рукавицами, говорили друг другу: «Знать, важно ломают камедь!».

Но в самом деле появившаяся на сцену женщина была существо необыкновенное: воздушная тень, какую она пронеслась почти по сцене, с такою детски-простою естественностию, которая вовсе не показывала в ней дебютантки, потому что только богато одаренным и артистическим натурам дается эта простая естественность. Она непринужденно ловко, без отвратительно жеманной наивности поблагодарила публику легким наклоном головы.

Виталии неподвижно глядел на сцену; казалось, в первый раз взгляд этого человека сошелся с определенной целию.

Она начала говорить. Все затихло.

То, что она говорила, был страшный вздор, хотя милый и французский вздор, – но, боже мой, как чудно звучал он в устах этой женщины, как искусно умела она скрыть неуклюжесть фраз и как у нее одной только понятна была эта речь, вся полная гремушек и блессток. Она была умна, говоря этот

вздор, или, лучше, она пела его, как искусная певица, у которой не заметны фиоритуры и рулады.

И когда, прощепетавши свою песню, она грациозно присела и, как серна, побежала в глубину театра, Виталин одобрительно кивнул головою, а партер опять залился гулом, от которого в состоянии убежать человек с самыми крепкими нервами.

Дебютантка должна была снова явиться; на ее устах играла улыбка торжества, на щеках ее горел румянец, глаза сияли, как звезды...

Боже мой, как дивно хороша, как невыносимо хороша, как женственна была она в эту минуту. Не одно пылкое, безумное, еще невыстрадавшееся сердце ощутило теплоту и полноту в присутствии этой женщины.

Один только приятель Виталина не изменил сжатого выражения своей физиономии; он даже зевнул, отвернувшись в сторону.

Виталин не сделал ему никакого замечания; видно, он знал его слишком хорошо или сам вполне ушел в самого себя. Но когда артистка, поклонившись публике, заметила его и слегка кивнула ему головою, по лицу его пробежало чувство неудовольствия, тем более что на него уставились оловянные глаза какого-то довольно полного офицера с рыжими усами и даже по целому ряду пронесся шепот. Он внутренне уже готовил филиппику на бедную артистку, которая была виновата тем только, что никогда не изменяла своей благо-

родной женской природе.

Но несмотря на эту случайно пробежавшую по лицу его тень досады, он постоянно впивался в нее глазами при каждом появлении на сцену, слушал внимательно ее лепет, подмечал каждую верно почувствованную интонацию и невольно раз еще изменил своей обыкновенной приличности, кивнувши одобрительно головою.

Акт кончился. Начались вызовы дебютантки. Виталин вышел в кофейную. Приятель его исчез еще прежде.

Он нашел его в кофейной разговаривающим с переводчиком пьесы, который стоял перед ним в каком-то странно-ложном и затруднительном положении. Они говорили о последней речи Гизо, напечатанной в «Дебатах»,⁹ но по всему виду юноши видно было, что ему хочется как-нибудь поприличнее завести речь о своей пьесе. Приятель Виталина упорно вел речь о «Дебатах».

– Bravo! Bravo! молодой человек: хорошо переводишь, славно переводишь, – сказал юноше какой-то толстый господин в широком пальто, с картузом под мышкою. – Молодец, ей-богу, молодец! Тиснем статью, тиснем, – продолжал он, дружески ударяя по плечу молодого человека.

Лицо приятеля Виталина сморщилось сардонически.

Юноша был, казалось, между Сциллою и Харибдою.

Может быть, он рассыпался бы в другой раз в вежливостях перед толстым господином, но теперь он как-то принужден-

⁹ «Дебаты» – парижская газета «Journal des Debats».

но поблагодарил его. Господин отошел, не слишком, кажется, довольный.

– Вы пожинаете лавры, – заметил сухо и сардонически приятель Виталина.

– Помилуйте, такие пустяки, – отвечал юноша робко, но с маленьким самодовольствием, ожидая, казалось, возражения на слово «пустяки».

Но его собеседник неумолимо начал прерванный разговор о Гизо.

Юноша говорил заметно неохотно; но скоро офицер с рыжими усами подскочил к нему с какою-то самодельно-французскою фразою и, увлекши к буфету, начал что-то говорить ему, показывая пальцем на Виталина.

Потом послышалось слово «магарычи», и вслед за этим почти юноша потребовал бутылку шампанского.

– Что он говорил с тобой? – спросил Виталин у своего приятеля, ходя взад и вперед по кофейной.

– Ничего; добивался, кажется, чтоб я похвалил его перевод. Глуп страшно.

– Что же ты, будешь хвалить?

– Вопрос еще, буду ли я писать? – отвечал приятель Виталина рассеянно.

– Разумеется, будешь.

– Что писать, о чем писать? Во-первых, я не понимаю сюжета пьесы.

– Я его расскажу тебе после.

– Ну хорошо.

Они оба ушли в кресла.

Второй акт драмы был торжеством дебютантки. Она играла в нем сумасшедшую от любви и этой избитой роли умела сообщить много своего и в особенности много женственного, чего почти не бывает в наших актрисах, хотя они и женщины, кажется.

Особенных происшествий не было, кроме того, что некоторые львы осипли от крика в продолжение представления и, когда после окончания драмы хотели было закричать «Склонскую», рты их, вместо членораздельных звуков, издали какое-то мычанье.

Виталин и его приятель вышли почти из первых.

Ночь была светлая и лунная, но чрезвычайно холодная. Они оба шли долго по Невскому проспекту, не говоря ни слова и на каждом шагу почти приподнимая воротники своих пальто, хотя поднять их больше, чем они поднимались обыкновенно, было вовсе невозможно.

– Послушай, Искорский, – начал наконец Виталин, – ты должен, непременно должен писать статью.

– Буду... да что уж только за статья будет, бог ведает, – отвечал тот.

– Да неужели ты настолько не владеешь собою, чтобы предаться предмету душой и телом, и верь, что во всяком, как бы он пошел и пуст ни казался, можно найти всегда глубокую сторону. Ты сам это знаешь. А главное-то – это нужно.

– Ох, знаю, братец, что нужно, – отвечал Искорский с чувством какого-то болезненного страдания. – Завтра у меня ни чаю, ни свечи.

– Ночуй у меня – будет и то и другое.

– Нет уж, как-нибудь... Но что писать, что писать? – почти с отчаянием говорил Искорский.

– Послушай, начать с того, что как ни плоха эта драма, а все-таки в ней есть содержание, все-таки интересы-то в ней не вертятся на обыкновенной пошленькой любви. Уж и то, что ее интерес на собственности, на имении. Развивай эту мысль – вот тебе и все. Разумеется, тут нового ничего не будет, но для нашей публики и это ново. Повторю опять мое любимое слово, публика милое дитя, ей надобно вдалбливать отвращение к известным нелепостям, ей надо оправдать ее эгоистические потребности, потому что иначе идеалисты будут вечно ее жать, сами перед собою притворствоваться.

– Мне ли и тебе ли бороться! – отвечал Искорский.

– Борьбу на смерть и до смерти, борьбу до последнего истощения сил должны мы вести все, все, как бы мы ни были больны, – возразил Виталин, – потому что, право, о самих себе, – добавил он грустно, – не стоит заботиться.

– Так, так, все так, но где же силы бороться? Да и можно ли опять, скажу я, писать что-нибудь, – отвечал мрачно Искорский, – когда запираешь дверь на крючок и вздрагиваешь при каждом стуке за дверью, потому что грозит какое-нибудь малочестное посещение кредитора, который, мо-

жет быть, представил уже и кормовые деньги.¹⁰

Они оба замолчали.

– Пиши о дебютантке, – начал опять Виталин, – не потому, мой милый, чтобы это до меня касалось, – я знаю, впрочем, что это тебе и в голову не придет, – но опять потому, что нашей массе надобно навязывать убеждения.

– Послушай, Виталин, – сказал, приостановись немного, Искорский, – что я буду о ней писать. Для меня все это китайская грамота; к театру у меня сочувствия вовсе нет, к игре актеров еще менее.

– Но когда эта игра проводник к электричеству! Чудак, ей-богу, – говорил Виталин. – Кстати или некстати, – продолжал он, несколько помолчавши, – хочешь ты быть знаком с этою женщиною?

– Пожалуй, но к чему? – отвечал Искорский рассеянно.

– Все так... впрочем, мне идти налево, тебе направо. Прощай.

– Завтра будешь?

– Буду.

– Точно будешь?

– Буду, буду, буду, – отвечал Виталин с нетерпением, и, кивнувши головою своему спутнику, быстро повернул к Вознесенскому проспекту.¹¹

¹⁰ Кредитор мог отправить не вернувшего долг в тюрьму («долговую яму»), но обязан был содержать его там, платить «кормовые».

¹¹ *Вознесенский проспект* – ныне просп. Майорова.

Он остался один. Ему хотелось быть одному, чтобы предаться своему внутреннему миру. Этот вечер взволновал опять в его памяти былые образы; но не дивный образ женщины, которой обаяние околдовало всех других, не этот светлый образ носился перед ним, нет – он ему напоминал только образ человека, проведшего яркую черту на странице жизни этой женщины, с жизнью которого так долго и так с ранней молодости сливалась его собственная жизнь. Ему все больше и больше обрисовывались благородные мужественные черты, высокое чистое чело, саркастическая, но по временам женски-нежно-обаятельная улыбка. Ему слышались речи, то полные ледяного холода и ядовитой пронзающей насмешки, речи, которые от странности казались многим бессмысленными, но которые так изучил он, которые для него полны были глубокого смысла, – то поэтически-беззаветные, исполненные чудных воспоминаний. В памяти его оживали те вечера, редкие вечера, когда, окончивши работу художника, передавши ему только что распустившееся свежее создание, – уверенный гордо в своем призвании поэта – этот человек сбрасывал с себя кору черствой холодности, являлся тем, чем был он в существе своей богатой природы, и из уст его лились слова, проникнутые чистотою младенца и разумом мужа. То были долгие беседы об искусстве, любимом им более всего на свете, или простые, но чудно-поэтические рассказы о первых днях молодости, о снежных беспредельных полях, озаренных полною луною, о лучах этой луны, иг-

рающей на полу старой залы, и о темно-русой головке с голубыми очами, наклоненными к клавишам рояля. И припомнилась ему та полоса их общей жизни, когда они оба любили эту теперь женщину, тогда слабое воздушное дитя, страдавшее в когтях палачей, добродушно и бессознательно ее терзавших, и то, как плакал тогда по ней, как ребенок, как юноша, как сумасшедший, этот человек сильный и крепкий душою, – как она видалась с ним в такие же светлые зимние ночи на паперти ветхой церкви и как она зашаталась от его первого огненного мужеского поцелуя. Виталину припомнилось все это, припомнилось, как он сам благородно и бескорыстно болел душою за эту женщину, как он пламенно веровал тогда и как готов был отдать жизнь свою за то, чтобы не страдала эта женщина, это бедное больное дитя. И потом как промелькнула эта полоса жизни, образ одного только человека уцелел из нее, и Арсений думал о том, какую тайную силу имел он над ним, как умел он в его вечно страдавшей душе поднять всех змей страдания и обнажить перед ним все тайные, все отвратительные пружины этих страданий, злобно посмеяться над ними – и потом одним словом примирить все и подать руку на восстание. Пред ним предстали опять длинные бессонные для обоих ночи, когда, не имея ничего нового сказать друг другу, они говорили, однако, и им весело было говорить друг с другом, ночи, когда тот засыпал наконец, а Арсений еще сидел перед ним, смотря на этот строгий и спокойный профиль, на эту поднятую грудь, на эти бе-

лые, как из мрамора изваянные, женские руки. Арсению было так понятно, так страшно понятно, что его личная жизнь не имела больше смысла с тех пор, как отделилась от жизни этого человека.

Он добрался наконец до своей квартиры, которая была в одной из отдаленных улиц Коломны.¹² Когда он вошел в нее, она показалась ему еще теснее, еще печальнее, чем обыкновенно.

Изнеможенный, он упал на постель и рыдал долго, рыдал безутешно.

Тщетно он хотел заснуть. Ему предстала иная полоса жизни. Он был опять, казалось, в кругу одного семейства, он опять, казалось, с безумным увлечением говорил в нем о своих верованиях, о своей ненависти, не смея ни слова сказать о своей любви, и, облокотись на стол, с глубоким сочувствием слушала его женщина, которую одну в целом мире считал он себе равною, а прямо против него сияли болезненно ярко-голубые очи другой женщины, у ног которой он хотел упасть, чтобы долго, безумно долго смотреть в ее болезненно сияющие очи...

Она его не любила. Жгучий трепет бегал по телу Арсения; из уст его вырывались бессвязные слова, странные, как бред горячки.

Било четыре. Он все еще лежал с открытыми глазами, то-

¹² *Коломна* – тогдашняя окраина Петербурга (ср. «Домик в Коломне» Пушкина), район вокруг нынешней пл. Тургенева.

мимый пыткой невыносимого, безнадежного страдания.

III. Арсений Виталин

Теперь пора мне поближе познакомить читателей с героем моего рассказа.

Арсений Виталин – с первого взгляда принадлежал, казалось, к числу тех, к несчастью, может быть, многих молодых людей нашей эпохи, которые, слишком рано предавшись наслаждениям, теряют вкус ко всему и, чуждые вовсе условий общества, в котором они живут, остаются в состоянии вечного отрицания и тягостной, мучительной апатии. Такие явления странны и даже смешны, если хотите, но всего более грустны... Апатия налегла на них не потому, чтобы силы их истощились в борьбе с действительной жизнью; нет, эти силы погибли в борьбе с призраками; они сами знают, что мучат себя этими призраками, истощают себя неистовыми снами, – и потом дрожат нервно, выходя на свежий воздух жизни, и бегут опять в свое призрачное я, потому что вне его их пробирает дрожь, которую они считают следствием холода. На таких личностях лежит печать постоянного разочарования; но многие не верят в искренность этого разочарования, забывая, что силы, как тетива лука, слабеют равно, напрягаемые с целью или без цели, что жизнь в грезах истощает более настоящей жизни, потому что в ней нет питательных соков последней.

Но мы ошиблись, сказавши, что Арсений с первого раза

казался явлением такого рода; мы все, люди XIX-го века, не способны верить в возможность эксцентрических страстей и убеждений, хотя страдаем все, все до единого, более или менее. Нет, при первом сближении с Виталиным вы бы подумали, что это умный человек, – единственное качество, которого в нем не отвергал никто, но что жизнь этого человека двоятся, как у многих господ, которых вы видите вечером в каком-нибудь из московских салонов горячо отвергающими основы всякой жизни и деятельности при современных условиях общества и которых вы встретите утром в одной из канцелярий отправляющими с изумительным терпением должность столоначальника.

Виталин и сам способствовал бы этому обману; у него была страсть казаться человеком положительным, но он был слишком ветрен и даже слишком раздражителен, чтобы поддержать обман. Была эпоха, однако, – и эта эпоха в жизни его тянулась долго, – когда обстоятельства заставляли его с желчью в сердце играть искусно принятую роль. Он был где-то учителем и по многим отношениям считал себя обязанным обманывать всех и каждого ревностью к науке и изученными энциклопедическими познаниями. Это было для него пыткой, но играл он свою роль легко и непринужденно, потому что, в самом деле, в наше время очень нетрудно играть подобную роль. Виталин читал без толку и без системы, но читал чрезвычайно много; он наблюдал, кроме того, с удивительною восприимлемостью; одного слова, схваченно-

го на лету, достаточно ему было, чтобы вывести из него целую систему, и, продумавши один вечер над двумя или тремя положениями Спинозы, он рассказывал на другой день, что изучает Спинозу, а на третий пускался уже в пропаганду его учения, с циническим хладнокровием и бесстыдством, над которым сам он хохотал злобно внутри самого себя. Он был слишком уверен в том, что другие точно так же изучают предметы; притом у него была своя тактика: «Рыбак рыбака видит издалека», – думал он, и с людьми, которые так же, как он, не верили в филистерскую науку, разговор, начавшийся обыкновенно с взаимных самонадуваний, переходил на живые вопросы жизни, а труженики односторонней идеи, люди, которые в состоянии заниматься изысканиями частными, обыкновенно слишком скромны, чтобы сметь и подумывать даже знать что-нибудь, кроме своего предмета, и слишком добросовестно ограничены, чтобы подозревать цинически-нагую ложь знания... Потому Виталин считался человеком, подающим большие надежды, и даже все резкие выходы его против всех условий общественной нравственности вызывали только одобрительную улыбку, в которой так и выражалось: «Уходитесь, дескать, молодой ум гуляет, будет со временем как мы же»... Был ли виноват Виталин в своем циническом неверии – вопрос, трудный для разрешения. Была пора, он был молод, он был так чист душою, он в каждом человеке, который на словах проповедовал то, а на деле другое, – готов был видеть избранника и жреца ис-

тины, и каждое слово этого избранника было для него искрою, брошенною в порох. К одному из таких избранников он, способный привязываться глубоко и пламенно, как женщина, привязан был узами беспредельного уважения и беспредельной любви. Но когда этот человек спокойно перешел в грязную филистрическую жизнь,¹³ когда Виталин поневоле должен был увериться, что желчная раздражительность этого человека была просто следствием эгоизма холостяка и исчезла сама собою в сладких семейных сценах, когда этот человек, когда-то гордый и независимый, стал уже не без удовольствия мечтать о превосходительстве, – это явление, самое обыкновенное, самое разумное, может быть, заставило Виталина увидеть вещи в их настоящем свете.

Он играл комедию долго; наконец она стала ему невыносима, как всякое ложное положение. Человек крайностей – он разрубил разом, как гордиев узел, это ложное положение и, оставивши за собою всю прежнюю жизнь, бог знает почему, бог знает для чего, умчался куда-то.

Он поступил так, а не иначе, потому что только, по-видимому, лежала на нем тень разочарования. Правда, много душевных сил истратил он среди своей бесплодной софистической жизни, но слишком еще сильно звучал в душе его голос, зовущий к жизни и деятельности, слишком еще глубо-

¹³ Возможно, речь идет о Н. И. Крылове, который, будучи деканом, очень внимательно относился к Г.-студенту. В 1842 г. Крылов женился на Любове Корш; в семейной жизни он, впрочем, оказался деспотичным и грубым, в 1846 г. жена ушла от него.

ка была его вера в жизнь и бескорыстные стремления духа. Он не верил ни в порок, ни в добродетель, не верил до того, что ему странно и смешно казалось убеждать в своем неверии, но верил пламенно в одно только, что в каждой натуре лежит предчувствие ее назначения, ее право на счастье, право на жизнь. Что за нужда, думал он, что растение юга страдает на севере! Есть же страна, где оно зацветет жизнью; больное в чуждом ему климате, оно может же быть, однако, здорово... Сознание божественной правды каждой природы и того, что ее болезни и недуги происходят не от нее самой, а от влияния посторонних обстоятельств, – вот что было для Виталина незыблемым убеждением и вот что, может быть, поддерживало его в жизни. Обманываясь на каждом шагу, обманываясь постоянно, он не изменил, однако, надежде на будущее.

Разумеется, не вдруг дошел он до этой веры, потому что для нее нужно полное самоотречение, приобретаемое долгими мучительными страданиями. Надобно страдать самому, чтобы понять страдания других, надобно самому желать излечения и верить в его возможность, чтобы искренно желать излечения других. Надобно самому отыскать в себе тайные, тщательно скрываемые болезни, чтобы понять все: от величайшего подвига самоотречения до самого мелкого и отвратительного изгиба эгоизма.

И Виталин дошел до того, так страшного каждому убеждения, что если он не подлец, то потому только, что к этому

не принудили его обстоятельства, и не отступил от самого себя с ужасом и омерзением. Нет! он почувствовал себя выше в эту минуту, выше потому, что перешел последнюю преграду, отделяющую человека от человека, что не стало для него ни одного страдающего брата, от которого бы он мог отвернуться с презрением.

Но жизнь Виталина была двойственна, как жизнь каждого из нас. Никогда в самые трудные минуты не изменял он своим верованиям, но эти верования его не успокаивали. В нем самом, в его характере лежало зерно страдания... Он был ветрен, он был даже бесхарактерен: за минуты наслаждения или, лучше, забвения он платил слишком дорого, – но никогда дорогая расплата не была для него упреком. Если же бывали для него промежутки внешнего благоденствия, он в самом себе будил заснувшие во время неприятностей жизни внутренние страдания, и они терзали его тоскою неодолимою, тоскою осужденного, которая гнала его бог знает куда, которая заставляла его искать забвения в чем бы то ни было.

Он жил какою-то скитальческою жизнью целые пять лет, не обзавелся ничем, чем обыкновенно обзаводятся порядочные люди. Комната его была почти пуста, потому что все, что можно было заложить, давно уже лежало в залоге, и он по думал никогда выкупать заложенного, даже при деньгах. Квартиры переменял он аккуратно почти через два месяца, потому что он, заплативши обыкновенно вперед за первый, – он имел привычку до того откладывать на завтра плату за

второй, что хозяин являлся обыкновенно к нему с надзирателем, – и тогда для Виталина начиналось кочеванье по чужим квартирам, отвратительно печальное положение, от которого часто бывали с ним нервные горячки. Он принимался работать, доставал денег, платил хозяину обыкновенно вдвое более, но переезжал на другую квартиру, потому что не мог видеть человека, который напоминал ему какую-нибудь неприятную эпоху жизни, как не мог никогда прочесть письма, в котором предполагал найти что-нибудь неприятное, и бросал его в огонь не читавши.

Иногда на него находили минуты, когда он думал положить конец такой безалаберной жизни, но исполнение таких благих намерений было чудовищно нелепо. Тогда он обыкновенно нанимал квартиру где-нибудь по Нарвской части или даже раз на Петербургской стороне за 10 рублей серебром в месяц, с мебелью, столом и прислугою. Можете себе представить, какова была эта квартира и этот стол. Переехавши на одну из таких квартир, он обыкновенно лежал, не вставая с постели, целую неделю, наслаждаясь полною свободой и удобством хандрить, потом хандра же его выгоняла из дому и он исчезал по целым дням.

Он писал много, работал во многих журналах, но писал и работал полосами. В остальное время он лежал или странствовал, и все, что ни писал он, казалось ему тогда отвратительно гадким. Так было до новой полосы. Он опять одушевлялся, опять верил не в талант свой, до которого ему,

без притворства с его стороны, было очень мало нужды, но в необходимость пропаганды своих убеждений.

IV. Записки софиста

Мы рассказали читателю то, что сами могли заметить в характере Виталина; но этого мало, даже слишком мало для того, чтобы представить себе его нравственный образ: слишком ли богата была его природа или не было в нем вовсе ничего своего, – но дело в том, что Виталин нынешний никогда не был похож на Виталина вчерашнего, и чем более вы его узнавали, тем более открывалось вам в нем новых незамеченных изгибов.

Он вел почти постоянно дневник, но вовсе не оттого, чтобы придавал своей жизни какое-нибудь значение, а просто по привычке и по старой памяти. Это была скорее переписка с одною женщиною, чем дневник. Заметим здесь кстати, что если у Виталина были друзья, то только между женщинами, потому ли, что в нем самом было много женских черт, потому ли, что у нас женщины вообще умнее мужчин.

Несколько отрывков его дневника передано мне человеком, от которого я знаю подробности о жизни Виталина и о встрече с которым расскажу вам в свое время и в своем месте. Виталин называл свой дневник «Записками софиста», и отрывки его мы передаем читателям под этим же названием.

Отрывки из записок софиста

Порок и добродетель! Люди чрезвычайно расточительны на эти слова – жаль, что и ты также. Разумеется, я не требую от тебя, чтобы на порок и добродетель смотрела ты иными глазами, нежели другие люди, – вовсе не потому, что ты женщина, а потому, что ты не встречалась еще лицом к лицу с этими сухими добродетелями, от которых становится иногда страшно, и с этими пороками, от которых бывает подчас грустно, глубоко грустно. Но я – я не нашел еще человека, от которого бы мог отвернуться, имел право отвернуться.

Опыт ли это или крайняя степень разврата, но мысль, что добродетель – деньги, меня как-то не пугает уже, как пугала прежде. Скажи, пожалуйста, есть ли возможность сохранить человеческое достоинство, не имея ни гроша в кармане?.. Да и в чем заключается человеческое достоинство? Не в том ли, чтобы человек был выше мелочных потребностей жизни, чтобы человек был в состоянии пренебречь – не говорю жертвовать, потому что это бы значило унижать человека – по просто пренебречь этими мелочными потребностями для высших условий бытия? А согласишься сама, пренебречь тем, чего у нас нет, это просто значит быть поэтом в душе – что так же смешно, как быть Наполеоном в душе, или, пожалуй, сапожником в душе.

Все это только предисловие к тому, что я хотел тебе высказать. Ты мне пишешь: «Пусть чело твое будет вечно ясно и чисто». Да! оно ясно и чисто, я свободно и гордо поднимаю его к небу, но вовсе не потому, чтобы я не знал пятен на своей жизни.

Была пора, как бывает она для каждого, кто жил и мыслил, когда я презирал самого себя,¹⁴ презирал потому, что хотел невозможного и падал под бременем этих невозможных требований. Это – первая минута сознания личности, отделения себя от целого и падения в прах перед этим бесконечным целым; душа созидает для себя темные, колоссальные пагоды, чтобы во мраке их прислушиваться к отзывам бесконечности и молиться во прахе, сознавая свое ничтожество перед бесконечным.

Бывает иная пора... Человек испытал уже собственные силы, он уже знает, что, как он ни бейся, ему не удастся выйти из их ограниченного предела, но знает и права свои на жизнь и счастье. Он разлюбил и разуверился, и ему жаль того, что он разлюбил и в чем разуверился, но он не винит себя, он видит, что не мог жить иначе, и знает, что если бы начал снова жить, то жил бы точно так же.

Таково теперь мое состояние. Я вижу насквозь все нити, которые меня спутывали и вели к этому состоянию, и знаю

¹⁴ ... кто жил и мыслил, когда я презирал самого себя... – Сознательное переименование известных пушкинских строк («Евгений Онегин», гл. 1, строфа XLVI): Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей.

наизусть все мои потребности, т. е. все мои требования от жизни. Это не фатализм, потому что в фатализме нет и не может быть такой разумности, это и не вера также.

Знаешь ли, что? Быть может, это надежда...

Когда я вошел нынче, она сидела спиной к дверям или, лучше сказать, лежала на креслах, на которых обыкновенно садится ее муж, так, что ее локоны выходили за спинку кресел; правая рука ее сжимала лоб, как будто от сильной головной боли, левая упала на ручку кресел. Надобно сказать, что руки ее необыкновенно белы и прозрачны.

Я вошел тихо, так, что она не слыхала, и, вставши за нею, мог заметить, как порывисто и вместе тяжело дышала ее грудь. Наконец такое наблюдение показалось мне очень скучно. Я взял ее за руку, она вздрогнула и обратилась ко мне быстро.

Щеки ее горели болезненным румянцем, глаза были заплаканы, но она не сказала мне ни слова, может быть потому, что довольно умна, чтобы говорить пошлости.

– Ага, мы не в духе сегодня, – начал я, перебирая пальцы ее правой руки; я люблю как-то делать это с ее руками.

Она взглянула на меня с укором и потом опустила глаза в землю, как будто ей стыдно было чего-то.

Мне было это понятно, разумеется, но не хотелось показать, что это понятно. Не выпуская из рук ее пальцев, которые она усиливалась выдернуть, я опять спросил ее с вели-

чайшим равнодушием: «Что с тобою?».

Ни с того ни с сего она повисла у меня на шее и прижалась щекою к моему лицу. Отчего выражение лица ее было в это время какое-то болезненное? Прижавшись ко мне, она искала как будто защиты от чего-то, ее преследовавшего... Я сжал ее крепко в моих объятиях, как испуганного ребенка.

– Пусти меня, – сказала она, вырвавшись от меня, и, упавши снова в кресла, закрыла лицо руками. Бедное дитя, она дрожала, как в лихорадке!

Во всем этом есть много такого, за что бы я в лучшие годы готов был заплатить чем угодно и что теперь дается мне даром. Все это навевает на меня сны моей молодости, жаль, что сны только!

Не брани меня за это отношение. Начать с того, что я не искал ее любви и что по моим нравственным убеждениям вовсе не обязан отвергать ее, когда она сама явилась. Милости просим.

Что за дело, что я не в силах любить? Этой женщине ни тепло, ни холодно от моей любви или нелюбви. Да это еще вопрос и для самого меня: люблю я ее или нет? Признаюсь, я еще не решил для себя этой загадки. Но дело не в том. Я дал ей несколько минут безумного самозабвения – п довольно! Может быть, лучше даже, что сам я не испытываю с нею самозабвения, что во мне ее детская преданность, ее болезненная раздражительность – производят только сладостное щекотание нервов.

Я эгоист – это говорили мне с детства, и это я сам давно знаю: по в бесчисленных изветвлениях моего эгоизма можно просто растеряться. Уверен только, что мне самому было бы очень хорошо, когда бы другие в отношении ко мне были бы такими же, как я, эгоистами; сам до последней степени раздражительности тонкий, я верю вполне и в чужую раздражительность: знаю, по крайней мере, что никогда, ни одного страдающего брата не оскорбил я грубым неверием в нравственное страдание.

И между тем не было ни одного человека, который бы в отношении ко мне был так терпелив, как я ко многим. Впрочем, и то сказать, разве я мог когда-нибудь высказаться? То, что я высказывал, принимало всегда какой-то нелепый, недействительный образ, в который нельзя поверить, в который я сам не верил.

Мы страдаем, страдаем страшно и бесплодно; жизнью слов, жизнью воображения переживаем мы все, что действительность может дать, – и вносим в нее одну скуку и утомление, потому что знаем наизусть все, что она может дать, и потом, разумеется, виним эту действительность, как будто ее вина, что безумными снами, внутренним развратом истощили мы все жизненные соки. Мы жалуемся на бессилие воли, и жалобы эти основательны, если хочешь: по замечанию одного знакомого мне медика, все болезни нашего времени

происходят, по преимуществу, от расстройства нервов... Но это вовсе не *Fatum*, лежащее на нашем веке: в том, что «над миром мы пройдем без шума и следа»,¹⁵ виноват не век, но мы сами. Воля-то есть в нас – но крепкие жилы этого лука мы натягиваем для того, чтобы стрелять в воздух.

И таково между тем состояние современного общества, и тем лучше, что оно таково: я рад душевно, когда услышу, что где-нибудь в отдаленном уголке нашей неизмеримой родины таится глубокое безотрадное страдание – потому что оно-то для меня и признак воли.

Но дело в том, что мы все страдаем, потому что все лжем сами на себя. Было время, когда мир во зле лежал, – теперь он лежит во лжи. Ибо ложь не зло, вовсе не зло, напротив, ложь есть сознание добра, сознание истины, страдание по со-знаваемой истине, страдание о том, что эта истина только сознается, а не выполняется. И потому что истина не выполненная, а только сознанная, есть одно разрушение старого предрассудка, дух лжи – дух разрушенья. Само собою, вступа-вая в действительность с предвкушением будущего, мы вносим в настоящее одно страдание и скуку... И эту скуку мы боимся назвать ее собственным именем и зовем ее бессилием воли. Оно и понятно, пожалуй; не много найдется личностей, которые бы смело сказали: «Вот это я пережил, вот это для меня старо», когда им кажется, что для других, для большинства это вовсе не старо; но много ли найдешь ты таких,

¹⁵ Строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

которые бы не страдали более или менее старостию тяготеющих над ними понятий?... Человеческой личности ни одной, это я скажу смело... А назвать вещи их собственным именем как-то страшно... Возьмем, например, хотя ту же молодость. То, что называли молодостью наши отцы и деды, – для нас это прошло в восемнадцать, девятнадцать лет; а действовать в двадцать как подобает мужу и человеку – для нас неуказное время... А силы есть, стало быть, есть и потребность напрягать их... Точно так же неуказное время запрещало нам в пятнадцать лет жить жизнью юноши, и мы переживали эту жизнь только снами. Да! мы лжем, страшно лжем на самих себя, мы сами создаем себе страдания. На нас тяготеют еще готовые данные прошедшего, и за этими данными мы вечно осуждены тщетно искать самих себя, своих собственных понятий долга и нравственности, своего собственного воззрения на жизнь. Каждый из нас – актер, который славно играет известную роль, но никогда не забудет, что эта роль принята им на себя добровольно. Каждый из нас обманывает сам себя, обманывает даже в минуту самозабвения, обманывает потому, что предвидел это самозабвение, что искал самозабвения, сна, а не жизни.

Но что за различие между сном и жизнью? Сон, особенно у человека напряженного и нервически расстроенного, – жизнь, создаваемая им самим, жизнь, в которой ему светло и привольно, потому что ее явления совершаются по законам его мысли.

Что за дело, что эта жизнь – обман для других. Обман, обман! Истина для всех – часто обман для одного, и если хотя уже для одного она обман, можно быть уверенным, что будет время, когда она разоблачится для многих... Обман! – но разве не обман всякая перспектива, раскладывающаяся перед нами под сиянием полного месяца и дарящая нас минутами примирения и молитвы, минутами, когда на душе светло и свободно... Истина здесь в одной только целостности, в одной стройности и разумности сопоставления предметов: подойди ближе, и предметы, отдельно взятые, тебя разочаруют.

Я давно уже не ищу истины, а ищу счастья, в чем бы оно ни было.

Жаль одного только, по поводу чего я и написал это длинное оправдание обмана, что другие не хотят согласиться со мною. Сказать правду – эта женщина начинает меня мучить. Слезы и вечно слезы – о чем, уж этого я просто не понимаю или, лучше сказать, не хочу понимать. Недоставало одного только, чтобы она мучила меня ревностью. Вероятно, уж следует непременно, чтобы любовь была с ревностью: нет повода – что же за дело? Надобно его создать, а то как же можно обойтись без ревности? Но очень любопытно узнать, к кому она меня ревнует?

Разные драматические положения меня, наконец, бесят. Дай бог и без страстей-то прожить, слышал я часто от одного почтенного человека, а это еще со страстями. Влюбилась,

перелюбилась – и господи! прибавлял он всегда, обыкновенно поднимая руки кверху. Ведь есть же наслаждение мучить себя небывалыми призраками!

Вчера я играл в преферанс с ее мужем и еще с одним, кажется, чиновником же – впрочем, бог его ведает, на лбу не написано... Она сидела подле мужа, смотрела ему в карты и указывала, с чего ходить. Я проигрывал по обыкновению... Один раз ему удалось оставить меня без трех в червях. Он так самодовольно открыл в эту минуту свою серебряную табакерку, так весело прищелкнул ее сбоку, что я смотрел на него с истинным наслаждением.

– Каково мне счастье-то везет, Арсений Федорыч, – сказал он, опрокинувшись на спинку кресел и подмигнувши левым глазом на жену.

– Вы правы, счастье с вами, – отвечал я, не давая заметить, что понял его намек. – Но всегда ли?

– А вот посмотрим – всегда ли? – возразил он с самоуверенною улыбкою и взял, как будто не нарочно, руку жены, лежащую на ручке его кресел.

– Сомнительно, – сказал я с особенною расстановкою. – Восемь в червях!

Она отошла быстро.

– Вы смеетесь надо мною, – прошептала она с нервическою дрожью, когда через полчаса я подошел к ее рабочему столику.

– Это что еще?... – и я с величайшим равнодушием заку-

рил сигару над ее лампой и отошел опять к карточному столу.

Удивительно глупая, но и удивительно добрая, в самом деле, натура ее мужа. Он с нею все еще как на другой день свадьбы. И между тем что же делать, когда мне это очень забавно, забавно до того, что из удовольствия послушать его восторги я не щажу даже этой женщины... Когда он, полужмурясь, начинает мне в сотый раз рассказывать о своем сватовстве – и доходит до самого эффектного места, до того, когда столоначальник, разбранивши его за неподшивку дела, говорил ему, что он хуже медведя и что где он нашел такую дуру, которая бы за него пошла, – и потом с таким наивным и простодушным смехом спрашивает, дура ли у него Ольга Петровна? – и я с ледяным вниманием слушаю этот рассказ... она... Но что мне за дело?... Она лучше, во сто-крат лучше, когда страдает чем бы то ни было: я забываю тогда, что она чиновница, забываю, что она без ума от повести «Фрегат Надежда»,¹⁶ – я люблю ее в эти минуты. Страдание – апотеоза женщины, хотя, разумеется, есть степень этой апотеозы. Кстати о страдании. Я знал одну женщину, для которой страдание было стихией. Помню ее, как теперь, высокую и стройную с долгим, болезненным взглядом, с нервическою, по вечную улыбкую на тонких и бледных устах, с странным смехом, как будто ее щекотал кто-нибудь. Я не был влюблен в нее и этому удивляюсь до сих пор, но говорить с нею было

¹⁶ «Фрегат Надежда» – повесть А. А. Бестужева-Марлинского (1833).

для меня потребностию, но я отдал бы много, чтобы говорить с нею опять. Она была осуждена жить в патриархальном семействе, она была осуждена любить своего мужа, потому что он в самом деле был порядочный человек, но за это осуждение наверстывала она таким глубоким, таким самосознательно гордым страданием, что холодному наблюдателю могла бы показаться неправою. И в самом деле, ей, любимой до поклонения всей семьей мужа, ей, верной жене, образцовой матери – стоило бы сказать одно слово, чтобы уничтожить разом все патриархальные обычаи, от которых ее охватывал судорожный трепет, все долгие попытки однообразно-нелепого и добросовестно-однообразного образа жизни, от которого она таяла так заметно, и она никогда не сказала этого слова, и она умерла гордая тем, что не сказала этого слова. Есть натуры, до такой степени нежные, что быть не понятыми один раз в жизни для них страшнее в тысячу раз длинного, томительного страдания... Они до того особны, эти натуры, что им самим странна их особенность, что они сами знают, как все их требования от жизни несогласны с обыкновенным порядком вещей... Они тонки до такой степени, что их раздражают вещи вовсе для других незначительные, и очень хорошо знают это; что им говорить с людьми, которых оскорбить может разве только пощечина, потому что она факт, и факт несомненный?

Не таково, разумеется, страдание Ольги... Эта женщина вовсе не исключение, а скорее общее правило нашего быта,

жертва нашего нелепого воспитания, жертва идеализма азбучных правил и мечтательности. Ей вообразалось когда-то, что цель жизни любовь, что брак следствие любви. С 16-ти лет она мечтала об идеале, и, к несчастью, этот идеал явился к ней в особе живописца-гения, с общею принадлежностью наших доморощенных гениев, т. е. с проклятием людям и с. разгулом жизни, который, как известно, составляет необходимость всякой широкой души. Измеривши, по возможности, всю неизмеримую пустоту этого идеала, убедившись, что идеалы такого рода не годны даже на то, чтобы быть мужьями, – она ударилась в крайность. Ей нужен был человек, а, к несчастью, попались на пути жизни так называемый гений, а потом животное, чрезвычайно доброе, но до крайности глупое.

V. Скверное утро

Виталин проснулся рано в утро после представления, хотя заснул только в пять часов. Он помнил, что должен писать статью в один журнал и что эта статья нужна через два дня.

По обыкновению, он спросил девочку, принесшую ему два чайника, не был ли кто у него вчера.

Та отвечала, что был кто-то и даже фамилию сказывал, но фамилию она забыла, а помнит только, что столоначальник.

От слова «столоначальник» Виталина всегда подирал мороз по коже. Надобно сказать, что он служил когда-то, и именно в ту эпоху, когда, расквитавшись навсегда с софистической жизнью, бросился искать положительной деятельности и думал найти ее в службе. Но или понятия его о положительности были слишком странны, или просто он был вовсе ни к чему не годен, только ему, что называется, не повезло. Он работал усердно, особенно сначала, но искал всегда бог знает чего и как-то не мирился с мыслию, что дело не в деле, а в очистке бумаг. Притом же он никак не мог привыкнуть к тонкостям и различиям, которые должны быть соблюдаемы в сношениях с разными классами.

Одним словом, был ли он виноват или нет, но он бросил и службу, как бросил софистику, и с этих пор при слове «столоначальник» пред ним представал всегда печальный образ с длиною, страшно длиною физиономией, с мыслию об от-

ношении и нагоняе, или о нагоняе и об отношении.

Поэтому читателю не покажется странным, что неприятное чувство стеснило его грудь при этом слове и что он продумал довольно долго, какой бы это столоначальник вздумал сделать ему визит, и притом поздно вечером.

Наконец, он провел рукою по лбу, как будто желая смахнуть упорно засевшую мысль, и стал писать.

Не прошло получаса, как у дверей его послышались шаги и шарканье резиновыми калошами.

Он обернулся с невольною досадою, но при виде отворившейся двери и показавшегося лица его физиономия приняла обыкновенно спокойное и даже приветливое выражение.

Вошедший был человек среднего роста, с сгорбившеюся наружностию, с волосами, остриженными чрезвычайно гладко, и с глазами, которые беспрестанно, казалось, бегали и искали чего-то.

– А! здравствуйте, мой любезнейший Червенов, – обратился к нему Виталин.

– Здравствуйте... Ну, что, как вы? А? – говорил пришедший, не переставая искать глазами.

– Вы у меня вчера были? – спросил Виталин.

– Я? нет. А кто у вас вчера был? был кто-нибудь? – спросил Червенов, как будто забывая, что Виталин спрашивал, не зная, кто у него был.

– То-то, не знаю, – отвечал Виталин. – Ну что, как вы?

– Я? да что, ничего, – говорил Червенов, садясь на порож-

ний стул. – Скверно на свете жить.

– Старая истина!

– Вам, батюшка, хорошо – вы литератор, – продолжал Червенов, и в его словах отзывалась едкая, желающая рассердить ирония...

Но рассердить Виталина было вообще почти невозможно.

– Вчера был в канцелярии Г**, – начал опять Червенов, – и говорил, что вы ему должны; должны вы ему?

– Да, – отвечал Виталин, – а давно ли он был?

– На днях.

– Я ему отослал долг вчера.

– А! отослали... Были вы в субботу в Михайловском? отчего вы не бываете в Михайловском?

– В это время все денег не было, – отвечал Виталин.

– А в Александрыинском бываете? Нет, – продолжал Червенов очень громко и как бы сердясь, – вы не бываете в Михайловском потому, что вы человек выше других людей, что вам это кажется trop commun.¹⁷

– Вы не в духе сегодня, вы больны, мой милый Червенов, – отвечал ему Виталин, спокойно и улыбаясь.

– Прощайте, однако, – сказал, вставая, Червенов.

– Куда вы?

– Мне пора, я к вам только на минуту.

Виталин дружески протянул ему руку.

Он ушел.

¹⁷ слишком заурядным (франц.).

Виталину стало странно грустно. Ясно, что этот человек искал в нем какого-нибудь больного места, но Виталину было грустно не от этого. Истощенное, больное лицо Червенова, бессвязные речи, желтый цвет кожи – все говорило, что этот человек болен нравственно и физически. Он давно был знаком с ним и никогда не мог, подобно другим, бросить в него камень. Он видал его, когда внешние обстоятельства были для него хороши, и видал его тогда иным. Эта больная подозрительность, следствие самоунижения, следствие потери веры в собственное достоинство – могла скорее заставить плакать, чем рассердить. Червенов был умен, не тем умом, который приобретается, но умом врожденным, т. е. чрезвычайно редким умом, и между тем он мог даже сомневаться в этом уме, унижать себя до того, чтобы в другом умном человеке отыскивать презрение к себе, – но, несмотря на это, Виталин не в силах был отречься от него. Виноват ли был этот человек, что в его природе лежала склонность импонировать, что он падал под бременем обстоятельств и так же бы легко встал при других условиях? Азбучная истина, что несчастье делает человека лучшим, справедлива только в отношении к ограниченным и пошлым личностям.

Посещение Червенова произвело на Арсения скверное впечатление; он насилу мог опять начать писать.

Через несколько минут дверь опять зашкрипела, и в нее выглянуло лицо с рыжею бородкою клином.

Виталин обернулся...

– Что тебе? – закричал он с досадою, узнав хозяина своей квартиры.

– Да как же-с? Вы обещали вчера еще, – проговорил тот.

– Завтра, – отвечал Виталин решительно и захлопнул дверь.

Но непосредственно за этим он оделся, собрал лежавшие на столе бумаги, положил их в карман своего пальто, запер комнату и ушел, взявши ключ с собою.

VI. Воображаемый журнал, редактор его и сотрудники

Недели через полторы после описанного нами утра известный уже нам Искорский, тщетно проискавши Виталина по всем заведениям, которые, сколько знал он, любил посещать сей последний, и только что возвратись, измученный, прозябший и проголодавшийся, из последнего, отчаянного путешествия в 17-ю линию Васильевского острова, – вошел в свою комнату, с физиономией вдвое более сжатой против обыкновенного, и, заперши ключом дверь изнутри, сбросил с досадою свое синее пальто и в видимом волнении кинулся на диван.

Привязан ли был он слишком к Арсению и, находя в его безумствах оправдание собственных, любил в нем самые недостатки, – или обстоятельства слишком связали его жизнь с жизнью Виталина, но дело в том, что даже в эту минуту не мог он сердиться на него серьезно; он понимал слишком хорошо, что если Виталин теперь не у него, значит, Виталин не может, не в силах делать что-нибудь, не может потому, что ему лень, а лень – так принимали они оба – всегда невольна, всегда следствие болезни. Итак, он не сердился на него в эту минуту, но ему было досадно за него, досадно то, что в это время, по всем его расчетам, Виталин успел уже

создать десять новых легенд о себе в уме квартирных хозяек своих приятелей, надеть бездну долгов и рассказать, по слабости характера и по неограниченному самолюбию, много будущно возможного за настоящее действительное. При этом же хозяин Виталина до того надоел ему своими жалобами, что он не мог равнодушно его видеть.

По коридору, ведущему в его комнату, послышались чьи-то шаги. Искорский поспешил затаить, по возможности, самое дыхание.

– Искорский, – раздался за дверью знакомый голос, – это я, – отвори.

Искорский поспешил встать и отпереть.

Вошел Виталин.

Он был бледен, на его лице было видно болезненное утомление, его глаза были странно мутны.

– Откуда ты? – был первый вопрос Искорского...

– Мало ли откуда, – отвечал Виталин рассеянно, садясь на противоположный диван.

– Ты обедал? – спросил опять Искорский.

– Да.

– Где?

– Там... у одного знакомого.

– Да вздор, не обедал...

– Когда я тебе говорю, что обедал...

– Где ты был полторы недели?

– А что? меня искали?

– Хозяин надоел просто.

– Нет ли писем?

Искорский вынул из ящика стола одно маленькое письмо, запечатанное черной печатью.

Виталин молча взял его, распечатал и, пробежавши, положил в карман.

– Только? – спросил он холодно.

– Только.

– Послезавтра идет моя драма, – начал Виталин. – Получивши деньги, я уезжаю тотчас же из Петербурга.

– Куда?

– В Сибирь.

Виталин подал Искорскому с этим словом письмо, которое тот пробежал тотчас же.

– Безумие! – сказал Искорский, отдавая письмо назад.

– Не думаю.

– А я знаю, – продолжал тот, – а я вижу отсюда, что из всего этого будет. Дело конченное и решенное, что ты не в состоянии еще успокоиться.

– Я?... а пора бы! – отвечал Виталин с горькою улыбкою. – О нет, – сказал он, – вон, вон отсюда, поскорее вон отсюда. Чего мне ждать теперь? Да и глуп я был, когда ждал чего-нибудь прежде!.. Там, по крайней мере, мне останется только скучать.

– Что за отчаяние?

– Что за отчаяние? хорош вопрос! Да неужели тебе само-

му все это не надоело? Чего ждать? все одного – страдания.

– Да разве не везде одно и то же, по крайней мере для тебя и для меня?

– Говорю тебе: там мне будет полная свобода скучать и хандрить.

– О старом вздоре?

– Хотя бы и о нем.

– Славная цель, однако! Но тише, – прибавил Искорский, – сюда идут.

В коридоре снова слышались шаги, и казалось, двух человек... Вскоре за дверью раздался резкий и повелительный голос: «Это я, отворяйте!».

– Редактор,¹⁸ – прошептал Искорский, и губы его сардонически сжались на минуту. Он подошел к двери и повернул ключ.

В комнату вошли два человека.

Один из них обладал наружностью, которую я назову воинственной, потому что не умею иначе назвать ее, да и потому еще, что привык на все смотреть через призму табели о рангах. Он был еще очень молод и по всем признакам страшно недоволен своею молодостию; бледным и слабым, совершенно финским очертаниям его лица сообщали выразительность только усы, возделываемые с бесконечною лю-

¹⁸ *Редактор* – по некоторым намекам (молодость, военные привычки, «финские очертания его лица», «барон») можно предположить, что речь идет о Федоре Карловиче Дершау, редакторе журнала «Финский вестник», в котором в 1846 г. принял участие Г.

бовью. Движения его были резки и каждое из них, казалось, говорило «каков я, а?...». Он часто пристукивал каблуками, что, впрочем, за недостатком шпор не производило желаемого эффекта. На его лице вечно сияла улыбка неизменного самодовольствия; его речь была чрезвычайно резка и через три слова приправлялась постоянно выражениями, никогда не издававшими печати.

Другому господину, вошедшему с ним вместе, было, казалось, лет под пятьдесят. Он был довольно полон и невысок ростом; его несколько лысая голова, его полное и круглое, даже несколько распухшее лицо, нос красный к оконечности высказывали его натуру с первого раза: никогда, может быть, вы не вспомнили бы так ясно Шекспирова Фальстафа, как при взгляде на этого человека. Его припрыгиванья, так несообразные с летами, его претензии на светскость и изобилие – и вместе с тем летний костюм в половине зимы – все это представилось бы вам чрезвычайно комическим, хотя при более долгом наблюдении едва ли бы смех ваш не заменился глубоким, болезненным состраданием. И не одно то только поразило бы вас грустию, что этот человек не вынес ничего из своей долгой жизни, кроме беспутства и претензий на светскость... нет! взглядевшись в него пристальнее, вы уловили бы в нем искру еще не совсем заглохшего ума и, может быть, еще человеческого страдания... И в самых претензиях его на светскость и изобилие проглянуло бы вам, может быть, сознание ложности положения, хотя это сознание и приняло,

от бесхарактерности, чудовищную форму. Отношения его к первому описанному нами лицу с первого взгляда казались слишком унижительными; видно было, что он сам понимает это унижение, что он презирает того, перед кем он унижается, – но что искушение хорошего обеда сильнее в нем мысли о человеческом достоинстве.

– Ну что? – начал молодой человек, только что успевши войти и стукнувши правою ногою, – ведь я говорил вам, что *он* меня надует? – Вопрос относился к Искорскому, а слово *он* – к Фальстафу. – А! Виталин, здравствуйте, – продолжал он, протягивая два пальца правой руки, с аристократической претензией.

– Здравствуйтесь, барон, – ну что вы с журналом? – сказал тот.

– Я вам говорю, – надул, подлец... Ты не обижайся, – продолжал он, обращаясь к Фальстафу, – ведь мы здесь все свои... К** и покупать не думал.

– Ну, что ж К**, ну, что ж мне К**?... – заговорил самоуверенно и скороговоркою Фальстаф. – Я и знать-то его не хочу, твоего К**. Да вот Костоедов... ведь ты знаешь, я, братец, у него всякий день обедаю, трюфели, братец, вчера были такие... ну и *того*, знаешь... Вот я ему и говорю: Купи, братец, журнал. Да что Костоедов? я сам, братец, у тебя куплю; хочешь пять тысяч? хочешь, а? хочешь?

– Полно, братец, вздор врать, – отвечал барон с презрительною улыбкою.

– Вздор, я – вздор?... Оно надобно сказать правду, – ты забываешься, мы с тобой друзья, но правду-таки все надобно сказать; да и что же у тебя за журнал без меня будет?.. А уж пять тысяч найду, да вот хоть сейчас, поедем к Костоедову.

– Да я не возьму пяти тысяч, – отвечал барон, впрочем, уже не презрительным тоном.

– Не возьмешь, а отчего не возьмешь? Кто ж тебе даст пять тысяч?

– Да я сам буду издавать, сам, сам, – говорил барон и встал посередине комнаты в гордом сознании своего величия... – Ну, что ж такое, – продолжал он, приправивши речь и пристукнув каблуком, – одну книжку выдам, а там и поминай как звали! – Сказавши это, он повернулся на каблуках и, ставши в воинственную позицию, взглянул на всех с такою наглою самоуверенностью, которая невольно как-то напоминала: «Женитесь на мне, я буду сидеть вот как»¹⁹ одного из лиц гоголевского «Невского проспекта»... Тут было столько нахального бесстыдства, что оно привело бы в изумление ужаса.

– Нет, – оно, что ж одну книжку, – начал Фальстаф... – ты только продай; ну, вот к Костоедову поедем, сейчас поедем.

– Да, поедем, знаю я, поедем! – отвечал редактор, – в трактир?...

– Ну, да потом-то к Костоедову, – сказал, нимало не сму-

¹⁹ «Женитесь на мне, я буду сидеть вот как...» – Иронические слова приятельницы незнакомки, прельстившей художника Пискарева.

щаясь, Фальстаф.

– Да что, – говорил редактор, – уж знаю, что ничего не будет... Выдам первую книжку, выдам да и баста – да и с мошенника-то сдеру! непременно сдеру!

«Мошенник» было у редактора техническое название книгопродавца, которого обмануть ему не удалось, потому что тот вовремя успел отказаться от контракта с ним и заплатил ему неустойку, кажется, рублей тридцать серебром, воспользовавшись крайним желанием редактора купить галстук с чудовищно огромными цветами и крайнюю невозможностью удовлетворить это желание.

Редактор несколько раз прошелся по комнате в сильном волнении; потом остановился против своего Фальстафа и сказал ему решительным тоном: – Ну, поедем.

Величественно кивнул он головою двум нашим приятелям и замаршировал к дверям. Фальстаф в два прыжка очутился подле него, сказавши наперед Искорскому: – Ну, что он без меня! Меня все знают... мои ученые труды... вот и Костоедов говорит всегда: вы, профессор, собаку съели!..

По выходе их двое наших приятелей грустно взглянули друг на друга. Виталин молча склонил голову на стол. Искорский раскрыл книгу, лежавшую подле него на столе, долго, казалось, рассеянно перебирал ее листы и потом тихо, но с особенным благоговением прочел:

Lasst fahren hin das Allzuflüchtige,

Sie sucht bei ihm vergeblich Rath;
In dem Vergangnem liegt das Tüchtige,
Verewigt sich's in schöner That.²⁰

Книга, единственная книга, которая уцелела у него, среди всех превратностей его бродячей жизни, была – сочинение Гете.

Виталин поднял голову.

– Да! – начал он после долгого безмолвия, – да, долго мучила меня эта мысль или, лучше сказать, этот круг мышления, и было время, когда всем и каждому готов я был сказать: «Оставьте скоропреходящее». – Но это время прошло. Бывают и теперь минуты, когда я готов этому поверить, но ненадолго... Жребий брошен!., жить и умереть с массами.

– Т. е. с редактором и ему подобными, – грустно-иронически заметил Искорский.

– Хотя бы с ними, хотя бы за них!

– Бедный, бедный, – тихо говорил тот... – Страшное, безумное, сознательное ослепление!..

Виталин встал и надел пальто.

– Куда ты? – спросил его Искорский.

– Прощай – мне пора в театр.

Он вышел.

²⁰ Дайте уйти мимолетному, Тщетно искать в нем опору; Лишь в прошедшем находится здоровое начало, Увековечивает себя в прекрасном деянии (нем.). Из стихотворного цикла Гете «К празднику ложи 3 сентября 1825 г.»; цитата неточная: вместо Sie нужно Ihr, вместо liegt – lebt и т. д.

VII. После представления

...Занавес упал под гром рукоплесканий... И едва только успели опустить его, как начались неистовые клики: «Склонскую, Склонскую!...». Занавес поднялся опять, и она вышла, но на ее лице выразалось скорее утомление, чем удовольствие, и она, казалось, не обратила ни малейшего внимания на усилия одного из своих обожателей, который, стоя у самой рампы, продолжал еще реветь в блаженном самозабвении.

– Автора! – раздались новые клики.

В директорской ложе показался Виталин. В нем не заметно было ни малейшей перемены: то же холодное, неподвижное выражение физиономии, та же апатия во всех движениях.

Да и что ему было до этих вызовов? Разве не знал он еще прежде начала представления, что его вызовут вовсе не за то, чему он придавал значение в своей драме, – и что между тем его непременно вызовут, потому что таков уж обычай. Спокойно и гордо покорился он своей участи – и не терзали его ни рукоплескания фразам в его пьесе, ни выполнение ее, о котором в отношении к артистам можно было сказать: «Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой».²¹ Одна Склонская была верна его наставлению – и он несколько раз забы-

²¹ «Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой». – Слова Фамусова из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (д. II, явл. 5)

вался под звуки ее голоса...

Вышедши из директорской ложи, оп отправился в кофейную. Идти туда было ему скучно и даже просто гадко, по он дал слово и не мог не сдержать его.

Там его ждали уже редактор и много других господ, в числе которых были и Фальстаф, и господин с гнусной физиономиею, и несколько юношей-литераторов. Все это было уже пьяно: осиплые голоса, красные лица, бестолковый крик – все это напоминало Walpurgisnacht²²... И все это стремилось к Виталину с крепкими объятиями и сочными поцелуями, от которых он не мог увернуться. Чуждый этому шабашу ведьм, он, однако, попал в его очарованный круг и бог знает когда бы из него вышел, если бы капельдинер не подошел к нему и не сказал: «Наталья Васильевна ждет вас в карете». Он раскланялся с приятелями и пошел за капельдинером: вслед ему раздались хриплые восклицания.

Склонская в самом деле ждала его в карете, потому что он дал ей слово быть с нею в маскараде. В этот вечер она была так хороша, как, может быть, никогда не бывала: к ней шли как-то усталость и утомление – они разливали по всему существу ее обаятельную негу. Белизна ее плеч и шеи казалась еще чище от черного бархатного платья; грудь ее сладострастно колыхалась и просилась как будто наружу из-под узкого корсета, глаза блестели влагою, дыхание было жарко

²² Вальпургиеву ночь (нем.). «Вальпургиева ночь» – глава из 1-го тома «Фауста» Гете.

и прерывисто...

Виталин сел подле нее – и карета поехала.

Долго они оба молчали.

В окно кареты гляделся с правой стороны полный январский месяц. Ночь была холодна – но чудно прозрачна...

Арсений погрузился в самого себя. О чем он думал – о настоящем или о прошедшем? Думаем, что о последнем, потому что есть странное сродство между прошедшим и луною. Быть может, представала ему иная пора, иная лунная ночь, но летняя, теплая, обаятельная. И тогда так же смотрелся в карету месяц, но смотрелся с левой стороны, и было ему грустно и страшно, что он смотрелся с левой стороны, грустно и страшно, не за себя... о нет!..

– Арсений! – послышался подле него прерывистый, сладострастный лепет, и вслед за этим он почувствовал на своей щеке прикосновение локонов, ароматическое и жгучее прикосновение, и жаркое дыхание пахнуло на него...

О! это дыхание перенесло его под южное, пламенное небо, – он забыл все, кроме этого южного неба... Еще минута, еще ближе к устам его это дыхание: лихорадочный трепет, томительно-блаженный трепет пробежал по нем. Еще минута, и уста его впились в другие уста долгим, бесконечно долгим, удушительным поцелуем...

И как будто опаленная страшною, мужескою силою этого поцелуя, Склонская с усилием оторвалась от его уст и упала головою на его грудь, почти без чувств и без дыхания.

А он! – он очнулся снова, и снова серебряные лучи месяца защекотали ему сердце, и снова объяла его нестерпимая, больная тоска...

Но вот опять посыпались огненные частые поцелуи, опять безумным трепетом пробудилось чувство жизни и понял он, что бессильно над ним прошедшее, что много еще сил лежит в его природе, что много еще нового, вечно нового ждет его в грядущем.

Карета катилась тихо: то замирая, то пробуждаясь, слышался в ней таинственный лепет

.....

Комментарии

Впервые; Репертуар и пантеон, 1845, кн. 6, с. 550–590.

Перепечатывалось: *Григорьев Ан.* Человек будущего. М., «Универсальная библиотека», 1916, с. 37 – 103.

«Человек будущего» – первая часть своеобразной трилогии о Виталине. Общего заглавия трилогия не имеет, но подзаголовки повестей «Мое знакомство с Виталиным» и «Офелия» подчеркивают продолжение темы; в журнальной тексте второй и третьей повести были еще подстрочные примечания к подзаголовкам; во второй: «См. Репертуар и Пантеон. Кн. 6-я. 1845», в третьей: «См. Репертуар и Пантеон, 1845 г., кн. 6 и 9».